

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://to1stoyleo.ru/> приятного чтения!

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой

Посмертные записки старца Федора Кузмича умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска на заимке купца Хромова
Еще при жизни старца Федора Кузмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах двадцать семь лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание, что это не кто иной, как император Александр Первый; после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр Первый, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра Третьего. Верил этому и историк царствования Александра Первого, ученый Шильдер.

Поводом к этим слухам было, во-первых, то, что Александр умер совершенно неожиданно, не болев перед этим никакой серьезной болезнью, во-вторых, то, что умер он вдали от всех, в довольно глухом месте, Таганроге, в-третьих, то, что, когда он был положен в гроб, те, кто видели его, говорили, что он так изменился, что нельзя было узнать его и что поэтому его закрыли и никому не показывали, в-четвертых, то, что Александр неоднократно говорил, писал (и особенно часто в последнее время), что он желает только одного: избавиться от своего положения и уйти от мира, в-пятых, – обстоятельство мало известное, – то, что при протоколе описания тела Александра было сказано, что спина его и ягодицы были багрово-сизо-красные, что никак не могло быть на изнеженном теле императора.

Что же касается до того, что именно Кузмича считали скрывшимся Александром, то поводом к этому было, во-первых, то, что старец был ростом, сложением и наружностью так похож на императора, что люди (камер-лакеи, признавшие Кузмича Александром), выдавшие Александра и его портреты, находили между ними поразительное сходство, и один и тот же возраст, и та же характерная сутуловатость; во-вторых, то, что Кузмич, выдававший себя за непомнящего родства бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами своими величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, что старец никогда никому не открыл своего имени и звания, а между тем невольно прорывающимися выражениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего выше всех других людей; и, в-четвертых, то, что он перед смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами А. и П.; в-пятых, то, что, несмотря на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же посетивший его архиерей уговаривал его исполнить долг христианина, старец сказал: «Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля».

Все догадки и сомнения эти перестали быть сомнениями и стали достоверностью вследствие найденных записок Кузмича. Записки эти следующие. Начинаются они так:

Г

Спаси Бог бесценного друга Ивана Григорьевича[1] за это восхитительное убежище. Не стою я его доброты и милости Божией. Я здесь спокоен. Народа ходит меньше, и я один с своими преступными воспоминаниями и с Богом. Постараюсь воспользоваться уединением, чтобы подробно описать свою жизнь. Она может быть поучительна людям.

Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и Бог помог мне избавиться не от зла – я еще полон его, хотя и борюсь с ним, – но от участия в нем. Какие душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления (не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями), я расскажу в своем месте. Теперь же опишу только самые действия мои, как я успел уйти из своего положения, оставив вместо своего трупа труп замученного мною до смерти солдата, и приступлю к описанию своей жизни с самого начала.

Бегство мое совершилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все эти последние двадцать четыре года. Я, величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник,

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себя спасителем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством, un heureux hasard, [2] как я сказал это madame Stael. [3] Я считал себя таким, но Бог не совсем оставил меня, и недремлющий голос совести не переставая грыз меня. Все мне было нехорошо, все были виноваты. Один я был хорош, и никто не понимал этого. Я обращался к Богу, молился то православному Богу с Фотием, то католическому, то протестантскому с Парротом, то иллюминатскому с Крюденер, но и к Богу я обращался только перед людьми, чтоб они любовались мною. Я презирал всех людей, а эти-то презренные люди, их мнение только и было для меня важно, только ради его я жил и действовал. Одному мне было ужасно. Еще ужаснее с нею, с женою. Ограниченная, лживая, капризная, злая, чахоточная и вся притворство, она хуже всего отравляла мою жизнь. Nous étions censés [4] прожить нашу новую lune de miel, [5] а это был ад в приличных формах, притворный и ужасный.

Один раз мне особенно было гадко, я получил накануне письмо от Аракчеева об убийстве его любовницы. Он описывал мне свое отчаянное горе. И удивительное дело: его постоянная тонкая лесть, не только лесть, но настоящая собачья преданность, начавшаяся еще при отце, когда мы вместе с ним, тайно от бабушки, присягали ему, эта собачья преданность его делала то, что я если любил в последнее время кого из мужчин, то любил его. Хотя и неприлично употреблять это слово «любил», относя его к этому извергу. Связывало меня с ним еще и то, что он не только не участвовал в убийстве отца, как многие другие, которые именно за то, что они были участниками моего преступления, мне были ненавистны. Он не только не участвовал, но был предан моему отцу и предан мне. Впрочем, про это после.

Я спал дурно. Странно сказать, убийство красавицы, злой Настасьи (она была удивительно чувственно красива) вызвало во мне похоть. И я не спал всю ночь. То, что через комнату лежит чахоточная, постылая жена, не нужная мне, злило и еще больше мучало меня. Мучали и воспоминания о Мари (Нарышкиной), бросившей меня для ничтожного дипломата. Видно, и мне и отцу суждено было ревновать к Гагариным. Но я опять увлекаюсь воспоминаниями. Я не спал всю ночь. Стало рассветать. Я поднял гардину, надел свой белый халат и кликнул камердинера. Все еще спали. Я надел сюртук, штатскую шинель и фуражку и вышел мимо часовых на улицу.

Солнце только что поднималось над морем, был свежий осенний день. На воздухе мне сейчас же стало лучше. Мрачные мысли исчезли, и я пошел к игравшему местами на солнце морю. Не доходя угла с зеленым домом, я услышал с площади барабан и флейту. Я прислушался и понял, что на площади происходила экзекуция: прогоняли сквозь строй. Я, столько раз разрешавший это наказание, никогда не видал этого зрелища. И странное дело (это, очевидно, было дьявольское влияние), мысли об убитой чувственной красавице Настасье и об рассекаемых шпицрутенами телах солдат сливались в одно раздражающее чувство. Я вспомнил о прогнанных сквозь строй семеновцах и о военнопоселенцах, сотни которых были загнаны насмерть, и мне вдруг пришла странная мысль посмотреть на это зрелище. Так как я был в штатском, я мог это сделать.

Чем ближе я шел, тем явственнее слышалась барабанная дробь и флейта. Я не мог ясно рассмотреть без лорнета своими близорукими глазами, но видел уже ряды солдат и движущуюся между ними высокую, с белой спиной фигуру. Когда же я стал в толпе людей, стоявшей позади рядов и смотревшей на зрелище, я достал лорнет и мог рассмотреть все, что делалось. Высокий человек с привязанными к штыку обнаженными руками и с голой, кое-где алевшей уже от крови, рассеченной белой сутуловатой спиной шел по улице сквозь строй солдат с палками. Человек этот был я, был мой двойник. Тот же рост, та же сутуловатая спина, та же лысая голова, те же баки, без усов, те же скулы, тот же рот и те же голубые глаза, но рот не улыбающийся, а раскрывающийся и искривляющийся от вскрикиваний при ударах, и глаза не умилные, ласкающие, а страшно выпяченные и то закрывающиеся, то открывающиеся.

Когда я взгляделся в лицо этого человека, я узнал его. Это был Струменский, солдат, левофланговый унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка, в свое время известный всем гвардейцам по своему сходству со мною. Его шутя называли Александром II.

Я знал, что он был вместе с бунтовавшими семеновцами переведен в гарнизон, и понял, что он, вероятно, здесь в гарнизоне сделал что-нибудь, вероятно, бежал,

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
был пойман и вот наказывался. Как я потом узнал, так это и было.

Я стоял как заколдованный, глядя на то, как шагал этот несчастный и как его били, и чувствовал, что что-то во мне делается. Но вдруг я заметил, что стоявшие со мной люди, зрители, смотрят на меня, – одни сторонятся, другие приближаются. Очевидно, меня узнали. Увидав это, я повернулся и быстро пошел домой. Барабан все бил, флейта играла; стало быть, казнь все продолжалась. Главное чувство мое было то, что мне надо было сочувствовать тому, что делалось над этим двойником моим. Если не сочувствовать, то признавать, что делается то, что должно, – и я чувствовал, что я не мог. А между тем я чувствовал, что если я не признаю, что это так и должно быть, что это хорошо, то я должен признать, что вся моя жизнь, все мои дела – все дурно, и мне надо сделать то, что я давно хотел сделать: все бросить, уйти, исчезнуть.

Чувство это охватило меня, я боролся с ним, я то признавал, что это так и должно быть, что это печальная необходимость, то признавал, что мне надо было быть на месте этого несчастного. Но, странное дело, мне не жалко было его, и я, вместо того чтобы остановить казнь, только боялся, что меня узнают, и ушел домой.

Скоро перестало быть слышно барабаны, и, вернувшись домой, я как будто освободился от охватившего меня там чувства, выпил свой чай и принял доклад от Волконского. Потом обычный завтрак, обычные, привычные – тяжелые, фальшивые отношения с женой, потом Дибич и доклад, подтверждавший сведения о тайном обществе. В свое время, описывая всю историю своей жизни, опишу, если Богу будет угодно, все подробно. Теперь же скажу только, что и это я внешним образом принял спокойно. Но это продолжалось только до конца обеда. После обеда я ушел в кабинет, лег на диван и тотчас же заснул.

Едва ли я проспал пять минут, как толчок во всем теле разбудил меня, и я услышал барабанную дробь, флейту, звуки ударов, вскрикивания Струменского и увидел его или себя, – я сам не знал, он ли был я, или я был я, – увидел его страдающее лицо и безнадежные подергивания и хмурые лица солдат и офицеров. Затмение это продолжалось недолго: я вскочил, застегнул сюртук, надел шляпу и шпагу и вышел, сказав, что пойду гулять.

Я знал, где был военный госпиталь, и прямо пошел туда. Как всегда, все засуетились. Запыхавшись, прибежал главный доктор и начальник штаба. Я сказал, что хочу пройти по палатам. Во второй палате я увидел плешивую голову Струменского. Он лежал ничком, положив голову на руки, и жалобно стонал. «Был наказан за побег», – доложили мне.

Я сказал: «А!», сделал свой обычный жест того, что слышу и одобряю, и прошел мимо.

На другой день я послал спросить, что Струменский. Мне сказали, что его причастили и он умирает.

Это был день именин брата Михаила. Был парад и служба. Я сказал, что нездоров после крымской поездки, и не пошел к обедне. Ко мне опять пришел Дибич и докладывал опять о заговоре во 2-й армии, напоминая то, что говорил мне об этом граф Витт еще до крымской поездки, и донесение унтер-офицера Шервуда.

Тут только, слушая доклад Дибича, приписывавшего такую огромную важность этим замыслам заговора, я вдруг почувствовал все значение и всю силу того переворота, который произошел во мне. Они делают заговор, чтобы изменить образ правления, ввести конституцию, – то самое, что я хотел сделать двадцать лет тому назад. Я делал и разделял конституции в Европе, и что и кому от этого стало лучше? И, главное, кто я, чтобы делать это? Главное было то, что вся внешняя жизнь, всякое устройство внешних дел, всякое участие в них – а уж я ли не участвовал в них и не перестраивал жизнь народов Европы – было не важно, не нужно и не касалось меня. Я вдруг понял, что все это не мое дело. Что мое дело – я, моя душа. И все мои прежние желания отречения от престола, тогда с рисовкой, с желанием удивить, опечалить людей, показать им свое величие души, вернулись теперь, но вернулись с новой силой и с полной искренностью, уже не для людей, а только для себя, для души. Как будто весь этот пройденный мною в светском смысле блестящий круг жизни был пройден только для того, чтобы вернуться к тому юношескому, вызванному раскаянием, желанию уйти от всего, но вернуться без тщеславия, без мысли о славе людской, а для себя, для Бога. Тогда это были неясные желания, теперь это была

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
невозможность продолжать ту же жизнь.

Но как? Не так, чтобы удивить людей, чтобы меня хвалили, а, напротив, надо было уйти так, чтобы никто не знал и чтобы пострадать. И эта мысль так обрадовала, так восхитила меня, что я стал думать о средствах приведения ее в исполнение, все силы своего ума, своей, свойственной мне, хитрости употребил на то, чтобы привести ее в исполнение.

И удивительное дело, исполнение моего намерения оказалось гораздо более легким, чем я ожидал. Намерение мое было такое: притвориться больным, умирающим и, подговорив и подкупив доктора, положить на мое место умирающего Струменского и самому уйти, бежать, скрыв от всех свое имя.

И все делалось, как бы нарочно, для того, чтобы мое намерение удалось. 9-го я, как нарочно, заболел лихорадкой. Я проболел около недели, во время которой я все больше и больше укреплялся в своем намерении и обдумывал его. 16-го я встал и чувствовал себя здоровым.

В этот день я, по обыкновению, сел бриться и, задумавшись, сильно обрезаюсь около подбородка. Пошло много крови, мне сделалось дурно, и я упал. Прибежали, подняли меня. Я тотчас же понял, что это может мне пригодиться для исполнения моего намерения, и, хотя чувствовал себя хорошо, притворился, что я очень слаб, слег в постель и велел позвать себе помощника Виллие. Виллие не пошел бы на обман, этого же молодого человека я надеялся подкупить. Я открыл ему свое намерение и план исполнения и предложил ему восемьдесят тысяч, если он сделает все то, что я от него требовал. План мой был такой: Струменский, как я узнал, в это утро был при смерти и должен был кончиться к ночи. Я ложился в постель и, притворившись раздраженным на всех, не допускал к себе никого, кроме подкупленного врача. В эту же ночь врач должен был привезти в ванне тело Струменского и положить его на мое место и объявить о моей неожиданной смерти. И удивительное дело, все было исполнено так, как мы предполагали. И 17 ноября я был свободен.

Тело Струменского в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Брат Николай вступил на престол, сослав в каторгу заговорщиков. Я видел потом в Сибири некоторых из них, я же пережил ничтожные в сравнении с моими преступлениями страдания и незаслуженные мною величайшие радости, о которых расскажу в своем месте.

Теперь же, стоя по пояс в гробу, семидесятидвухлетним стариком, понявшим тщету прежней жизни и значительность той жизни, которой я жил и живу бродягой, постараюсь рассказать повесть моей ужасной жизни.

Моя жизнь
12 декабря 1849.

Сибирская тайга, близ Краснореченска

Сегодня день моего рождения, мне семьдесят два года. Семьдесят два года тому назад я родился в Петербурге. В Зимнем дворце, в покоях моей матери императрицы – тогда великой княгини Марьи Федоровны.

Спал я сегодня ночью довольно хорошо. После вчерашнего нездоровья мне стало несколько легче. Главное, прекратилось сонное духовное состояние, возобновилась возможность всей душой обращаться с Богом. Вчера ночью в темноте молился. Ясно сознал свое положение в мире: я – вся моя жизнь – есть нечто нужное тому, кто меня послал. И я могу делать это нужное ему и могу не делать. Делая нужное ему, я содействую благу своему и всего мира. Не делая этого, лишаюсь своего блага – не всего блага, а того, которое могло быть моим, но не лишаю мир того блага, которое предназначено ему (миру). То, что я должен бы был сделать, сделают другие. И его воля будет исполнена. В этом свобода моей воли. Но если он знает, что будет, если все определено им, то нет свободы? Не знаю. Тут предел мысли и начало молитвы, простой, детской и старческой молитвы: «Отче, не моя воля да будет, но твоя. Помогни мне. Прииди и вселися в ны». Просто: «Господи, прости и помилуй; да, Господи, прости и помилуй, прости и помилуй. Словами не могу сказать, а сердце ты знаешь, ты сам в нем».

И я заснул хорошо. Просыпался, как всегда, по старческой слабости, раз пять и

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
видел сон о том, что купаюсь в море и плаваю и удивляюсь, как меня вода держит высоко, – так, что я совсем не погружаюсь в нее; и вода зеленоватая, красивая; и какие-то люди мешают мне, и женщины на берегу, а я нагой, и нельзя выйти. Смысл сновидения тот, что мешает мне еще крепость моего тела, но выход близок.

Встал до рассвета, высек огня и долго не мог зажечь серничка. Надел свой лосиный халат и вышел на улицу. Из-за осыпанных снегом лиственниц и сосен краснела красно-оранжевая заря. Внес вчера наколонные дрова и затопил, и стал еще колоть. Рассвело. Поел размоченных сухарей; печь истопилась, закрыл трубу и сел писать.

Родился я ровно семьдесят два года тому назад, 12 декабря 1777 года, в Петербурге, в Зимнем дворце. Имя дано мне было, по желанию бабки, Александр, – в предзнаменование того, как она сама говорила мне, чтобы я был столь же великим человеком, как Александр Македонский, и столь же святым, как Александр Невский. Крестили меня через неделю в большой церкви Зимнего дворца. Несла меня на глазетовой подушке герцогиня курляндская, покрывало поддерживали высшие чины, крестной матерью была императрица, крестным отцом был император австрийский и король прусский. Комната, в которую поместили меня, была так устроена по плану бабушки. Я ничего этого не помню, но знаю по рассказам.

В обширной комнате этой с тремя высокими окнами, посередине ее, среди четырех колонн прикреплен к высокому потолку бархатный балдахин с шелковыми занавесами по полу. Под балдахином поставлена кровать железная, с кожаным тюфячком, подушечкой и легким английским одеялом. Кругом балдахина балюстрада в два аршина вышины – так, чтобы посетители не могли близко подходить. В комнате никакой мебели, только позади балдахина постель кормилицы. Все подробности моего телесного воспитания были обдуманы бабушкой. Запрещено было меня укачивать, пеленали особенным образом, ноги были без чулок, купали сначала в теплой, потом в холодной воде, одежда была особенная, надевалась сразу, без швов и завязок. Как только я начал ползать, так меня клали на ковер и предоставляли самому себе. Первое время мне рассказывали, что бабушка часто сама садилась на ковер и играла со мной. Я ничего этого не помню, не помню и кормилицу.

Кормилицей моей была жена садовникова молодца, Авдотья Петрова из Царского Села. Я не помню ее. Я увидел ее в первый раз, когда мне было восемнадцать лет и она в Царском подошла ко мне в саду и назвала себя. Было это в то мое хорошее время моей первой дружбы с Чарторижским и искреннего отвращения ко всему тому, что делалось при обоих дворах, как несчастного отца, так и ставшей мне ненавистной тогда бабки. Я был еще человеком тогда, и даже не дурным человеком, с добрыми стремлениями. Я шел с Адамом по парку, когда из боковой аллеи вышла хорошо одетая женщина, с необыкновенно добрым, очень белым, приятным, улыбающимся и взволнованным лицом. Она быстро подошла ко мне и, упав на колени, схватила мою руку и стала целовать ее.

– Батюшка, ваше высочество. Вот когда Бог привел.

– Кто вы?

– Кормилка ваша Авдотья, Дуняша, одиннадцать месяцев кормила. Привел Бог взглянуть.

Я насилу поднял ее, спросил, где она живет, и обещал зайти к ней. Милый intérieur[6] ее чистенького домика; ее милая дочка, совершенная русская красавица, моя молочная сестра, (которая) была невестой берейтора придворного; отец ее, садовник, такой же улыбающийся, как и жена, и куча детей, тоже улыбающихся, – все они точно осветили меня в темноте. «Вот настоящая жизнь, настоящее счастье, – думал я. – Так все просто, ясно, никаких интриг, зависти, ссор».

Так вот эта милая Дуняша и кормила меня. Главной няней моей была немка Софья Ивановна Бенкендорф, а няней – англичанка Гесслер. Софья Ивановна Бенкендорф, немка, была толстая, белая, прямоносая женщина, с величественным видом, когда она распоряжалась в детской, и удивительно униженной, низкопоклонной, низкоприседающей при бабушке, которая была на голову ниже ее ростом. Она ко мне относилась особенно раболепно и вместе с тем строго. То она была царицей, в своих широких юбках и (с) своим величественным прямоносым лицом, то вдруг делалась притворяющейся девчонкой.

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
Прасковья Ивановна (Гесслер), англичанка, была длиннолицая, рыжеватая, всегда серьезная англичанка. Но зато, когда она улыбалась, она расслаивалась вся, и нельзя было удержаться от улыбки. Мне нравилась ее аккуратность, ровность, чистота, твердая мягкость. Мне казалось, что она что-то знает такого, чего не знал никто, ни маменька, ни батюшка, даже сама бабушка.

Мать свою я помню сначала как какое-то странное, печальное, сверхъестественное и прелестное видение. Красивая, нарядная, блестящая бриллиантами, шелком, кружевами и обнаженными полными белыми руками, она входила в мою комнату и с каким-то странным, чуждым мне, не относящимся ко мне грустным выражением лица ласкала меня, брала на свои сильные прекрасные руки, подносила к еще более прекрасному лицу, откидывала густые пахучие волосы, и целовала меня и плакала, и раз даже спустила меня с рук и упала в дурноте.

Странное дело: внушено ли мне это было бабушкой, или таково было обхождение со мною матери, или я детским чутьем проник ту дворцовую интригу, которой я был центром, но у меня не было простого чувства, даже никакого чувства любви к матери. Что-то натянутое чувствовалось в ее обращении ко мне. Она как будто что-то выказывала через меня, забывая меня, и я это чувствовал. Так это и было. Бабка отняла меня от родителей, взяла в свое полное распоряжение, для того чтобы передать мне престол, лишив его ненавидимого ею сына, моего несчастного отца. Я, разумеется, долго ничего не знал этого, но с первых же дней сознания я, не понимая причин, сознавал себя предметом какой-то вражды, соревнования, игрушкой каких-то замыслов и чувствовал холодность и равнодушие к себе, к своей детской душе, не нуждавшейся ни в какой короне, а только в простой любви. И ее-то и не было. Была мать, всегда грустная в моем присутствии. Один раз она, поговорив о чем-то по-немецки с Софьей Ивановной, расплакалась и выбежала почти из комнаты, заслышав шаги бабушки. Был отец, который иногда входил в нашу комнату и к которому потом водили меня с братом. Но отец этот, мой несчастный отец, еще больше и решительнее, чем мать, при виде меня выражал свое неудовольствие, сдержанный гнев даже.

Помню, как раз нас с братом Константином привели на их половину. Это было перед отъездом его в путешествие за границу в 1781 году. Он вдруг отстранил меня рукой и с страшными глазами вскочил с кресла и, задыхаясь, заговорил что-то обо мне и бабушке. Я не понял что, но помню слова:

– Après 62 tout est possible...[7]

Я испугался, заплакал. Матушка взяла меня на руки и стала целовать. И потом поднесла ему. Он быстро благословил меня и, стуча своими высокими каблуками, почти выбежал из комнаты. Уже долго потом я понял значение этого взрыва. Они с матушкой ехали путешествовать под именем Comte и Comtesse du Nord.[8] Бабушка хотела этого. И он боялся, чтобы в его отсутствие он бы не был объявлен лишенным права на престол и я признан наследником...

Боже мой, Боже мой! И он дорожил тем, что погубило телесно и духовно и его и меня, и я, несчастный, дорожил тем же.

Кто-то стучится, произнося молитву: «Во имя Отца и Сына». Я сказал: «Аминь». Уберу писание, пойду отопру. И если Бог велит, будут продолжать завтра.

13 декабря

Спал мало и видел нехорошие сны: какая-то женщина, неприятная, слабая, жметя ко мне, и я не ее боюсь, не греха, а боюсь, что увидит жена. И будут опять упреки. Семьдесят два года, и я все еще не свободен... Наяву можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Видел еще – и это опять подтверждение той низкой степени нравственности, на которой я стою, – что кто-то принес мне здесь во мху конфеты, какие-то необыкновенные конфеты, и мы разобрали их из моха и роздали. Но после раздачи остались еще конфеты, и я выбираю их для себя, а тут мальчик вроде сына турецкого султана, черноглазый, неприятный, тянется к конфетам, берет их в руки, и я отталкиваю его и между тем знаю, что ребенку гораздо свойственнее есть конфеты, чем мне, и все-таки не даю ему и чувствую к нему недоброе чувство, и в то же время знаю, что это дурно.

И странное дело, наяву со мной нынче случилось это самое. Пришла Марья

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
Мартемьяновна. Вчера стучался от нее посол с запросом, может ли она побывать. Я сказал, что можно. Мне тяжелы эти посещения, но я знаю, что ее огорчил бы отказ. И вот нынче она приехала. Полозья издалека слышно было, как визжали по снегу. И она, войдя в своей шубе и платках, внесла кульки с гостинцами и такой холод, что я оделся в халат. Она привезла оладей, масла постного и яблок. Она приехала спросить о дочери. Сватается богатый вдовец. Отдавать ли? Очень мне тяжело это их представление о моей прозорливости. Все, что я говорю против, они приписывают моему смирению. Я сказал, что всегда говорю, что целомудрие лучше брака, но, по слову Павла, лучше жениться, чем разжигаться. С ней вместе приехал ее зять Никанор Иванович, тот самый, который звал меня поселиться в его доме и потом не переставая преследовал меня своими посещениями.

Никанор Иванович – это великое для меня искушение. Не могу преодолеть антипатии, отвращения к нему. «Ей, Господи, даруй мне зрети прегрешения моя и не осуждать брата моего». А я вижу все его согрешения, угадываю их с пронизательностью злобы, вижу все его слабости и не могу победить антипатии к нему, к брату моему, к носителю, так же как и я, божественного начала.

Что значат такие чувства? Я в моей долгой жизни не раз испытывал их. Но самые сильные мои две антипатии это были Лудовик XVIII, с его животом, горбатым носом, противными белыми руками, с его самоуверенностью, наглостью, тупостью (вот я сейчас уже начинаю ругать его), и другая антипатия – это Никанор Иванович, который вчера два часа мучал меня. Все, от звука его голоса до волос и ногтей, вызывало во мне отвращение. И я, чтоб объяснить свою мрачность Марье Мартемьяновне, солгал, сказав, что мне нездоровится. После них стал на молитву и после молитвы успокоился. Благодарю тебя, Господи, за то, что одно, единственное одно, что нужно мне, в моей власти. Вспомнил, что Никанор Иванович был младенцем и будет умирать, тоже вспомнил и о Лудовике XVIII, зная, что он уже умер, и пожалел, что Никанора Ивановича уже не было, чтобы я мог выразить ему мое доброе к нему чувство.

Марья Мартемьяновна привезла много свечей, и я могу писать вечером. Вышел на двор. С левой стороны потухли яркие звезды в удивительном северном сиянии. Как хорошо, как хорошо! Итак, продолжаю.

Отец с матерью уехали в заграничное путешествие, и мы с братом Константином, родившимся два года после меня, перешли на все время отсутствия родителей в полное распоряжение бабки. Брата называли Константином в ознаменование того, что он должен был быть греческим императором в Константинополе.

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. Бабка ласкала, хвалила меня, и я любил ее, несмотря на отталкивающий меня дурной запах, который, несмотря на духи, всегда стоял около нее; особенно когда она меня брала на колени. И еще неприятны мне были ее руки, чистые, желтоватые, сморщенные, какие-то склизкие, глянцевиные, с пальцами, загибающимися внутрь, и далеко, неестественно оттянутыми, обнаженными ногтями. Глаза у нее были мутные, усталые, почти мертвые, что вместе с улыбающимся беззубым ртом производило тяжелое, но не отталкивающее впечатление. Я приписывал это выражение глаз (о котором вспоминаю теперь с омерзением) ее трудам о своих народах, как мне внушили это, и я жалел ее за это томное выражение глаз. Видел я раза два Потемкина. Этот кривой, косою, огромный, черный, потный, грязный человек был ужасен. Особенно же ужасен он мне был тем, что он один не боялся бабки и говорил своим трескучим голосом громко при ней и смело, хотя и называл меня высочеством, ласкал и тормозил меня.

Из тех, кого я видел у нее в это мое первое время детства, был еще Ланской. Он всегда был с ней, и все замечали его, все ухаживали за ним. Главное, сама императрица беспрестанно оглядывалась на него. Я не понимал, разумеется, тогда, что такое был Ланской, и он очень нравился мне. Нравилась мне его букли, нравились обтянутые в лосины красивые ляжки и икры, нравилась его веселая, счастливая, беззаботная улыбка и бриллианты, которые повсюду блестели на нем.

Время это было очень веселое. Нас возили в Царское. Мы катались на лодках, копались в саду, гуляли, катались на лошадях. Константин, толстенький, рыженький, un petit vacchus, [9] как его называла бабушка, веселил всех своими шутками, смелостью и выдумками. Он всех передразнивал, и Софью Ивановну, и даже саму бабушку.

Важным событием за это время была смерть Софьи Ивановны Бенкендорф. Случилось

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
это вечером в Царском, при бабушке. Софья Ивановна только что привела нас после обеда и что-то говорила, улыбаясь, как вдруг лицо ее стало серьезно, она зашаталась, прислонилась к двери, скользнула по ней и тяжело упала. Сбежались люди, нас увели. Но на другой день мы узнали, что она умерла. Я долго плакал и скучал и не мог опомниться. Все думали, что я плакал об Софье Ивановне, а я плакал не о ней, а о том, что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому, чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской пятилетней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми и на которые мудрые ищут и не находят ответы и легкомысленные стараются отстранить, забыть. Я сделал, как это свойственно ребенку, и особенно в том мире, в котором жил: я отстранил от себя эту мысль, забыл про смерть, жил так, как будто ее нет, и вот дожил до того, что она стала страшна мне.

Другое важное событие в связи со смертью Софьи Ивановны был переход наш в мужские руки и назначение к нам в воспитатели Николая Ивановича Салтыкова. Не того Салтыкова, который, по всем вероятностям, был нашим дедом, а Николая Ивановича, служившего при дворе отца, маленького человечка с огромной головой, глупым лицом и всегдашней гримасой, которую удивительно представлял маленький брат Костя. Переход этот в мужские руки был для меня горем разлучения с милой Прасковьей Ивановной, прежней няней.

Людям, не имевшим несчастья родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но награждают и делают людей счастливыми. Правда, от нас требовали учтивого отношения к людям, но я детским чутьем понимал, что это только видимость и что это делается не для них, не для тех, с кем мы должны быть учтивы, а для себя, для того, чтобы еще значительнее было свое величие.

Какой-то торжественный день, и мы едем по Невскому в огромном, высоком ландо: мы, два брата, и Николай Иванович Салтыков. Мы сидим на первом месте. Два напудренных лакея в красных ливреях стоят сзади. Весенний яркий день. На мне расстегнутый мундир, белый жилетик и по нем голубая андреевская лента, так же одет и Костя; на головах шляпы с перьями, которые мы то и дело снимаем и кланяемся. Народ везде останавливается, кланяется, некоторые бегут за нами. «*On vous salue*, – повторяет Николай Иванович. – *À droite*». [10] Проезжаем мимо гауптвахты, и выбегает караул.

Этих я всегда вижу. Любовь к солдатам, к военным экзерцициям у меня была с детства. Нам внушали – особенно бабушка, та самая, которая менее всех верила в это, – что все люди равны и что мы должны помнить это. Но я знал, что те, кто говорят так, не верят в это.

Помню, раз Саша Голицын, игравший со мной в бары, толкнул меня и сделал больно.

– Как ты смеешь!

– Я нечаянно. Что за важность!

Я чувствовал, как кровь прилила мне к сердцу от оскорбления и злобы. Я пожаловался Николаю Ивановичу, и мне не было стыдно, когда Голицын просил у меня прощения.

На нынче довольно. Свеча догорает. И надо еще нащепать лучины. А топор туп, и наточить нечем, да и не умею.

16 декабря

Три дня не писал. Был нездоров. Читал Евангелие, но не мог вызвать в себе того понимания его, того общения с Богом, которое испытывал прежде. Прежде много раз думал, что человек не может не желать. Я всегда желал и желаю. Желал прежде

Незаконченное. Наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru победы над Наполеоном, желал умиротворения Европы, желал освобождения себя от короны, и все желания мои или исполнялись и, когда исполнялись, переставали влечь меня к себе, или делались неисполними, и я переставал желать. Но пока эти исполнялись или становились неисполними прежние желания, зарождались новые, и так шло и идет до конца. Теперь я желал зимы, она настала, желал уединения, почти достиг этого, теперь желаю описать свою жизнь и сделать это наилучшим образом, так, чтобы принести пользу людям. И если исполнится и если не исполнится, явятся новые желания. Вся жизнь в этом.

И мне пришло в голову, что если вся жизнь в зарождении желаний и радость жизни в исполнении их, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку, всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы или, скорее, приближалось бы к исполнению? И мне ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания; и желание это наверное исполнилось бы.

Сначала это мне показалось странным. Но, вдумавшись, я вдруг увидел, что это так и есть, что в этом одном, в приближении к смерти, разумное желание человека. Желание не в смерти, не в самой смерти, а в том движении жизни, которое ведет к смерти. Движение же это есть освобождение от страстей и соблазнов того духовного начала, которое живет в каждом человеке. Я чувствую это теперь, освободившись от большей части того, что скрывало от меня сущность моей души, ее единство с Богом, скрывало от меня Бога. Я пришел к этому бессознательно. Но если бы я поставил своим высшим благом (а это не только возможно, но так и должно быть), считал бы своим высшим благом освобождение от страстей, приближение к Богу, то все, что придвигало бы меня к смерти: старость, болезни, было бы исполнением моего единого и главного желания. Это так, и это я чувствую, когда я здоров. Но когда я, как вчера и третьего дня, болею желудком, я не могу вызвать этого чувства и, хотя и не противлюсь смерти, не могу желать приближаться к ней. Да, такое состояние есть состояние сна духовного. Надо спокойно ждать.

Продолжаю вчерашнее. То, что я пишу про свое детство, я пишу больше по рассказам, и часто то, что мне про меня рассказывали, перемешивается с тем, что я испытал, так что я не знаю иногда, что я пережил и что слышал от людей.

Жизнь моя, вся, от рождения моего и до самой теперешней старости, напоминает мне местность, всю покрытую густым туманом, или даже после сражения под Дрезденом, когда все скрыто, ничего не видно, и вдруг тут и там открываются островки, *des éclaïrcies*, [11] в которых видишь ни с чем не соединенных людей, предметы, со всех сторон окруженные непроницаемой завесой. Таковы мои детские воспоминания. Эти *éclaïrcies* в детстве только редко, редко открываются среди бесконечного моря тумана или дыма, потом чаще и чаще, но даже и теперь у меня есть времена, не оставляющие ничего в воспоминании. В детстве же их чрезвычайно мало, и чем дальше назад, тем меньше.

Я говорил об этих просветах первого времени: смерти Бенкендорфши, прощанье с родителями, передразнивание Кости, но и еще несколько воспоминаний того времени теперь, когда я думаю о прошедшем, открываются передо мной. Так, например, я совершенно не помню, когда появился Костя, когда мы стали жить вместе, а между тем живо помню, как мы раз, когда мне было не более семи, а Косте пяти лет, мы после всенощной накануне Рождества пошли спать и, воспользовавшись тем, что все вышли из нашей комнаты, соединились в одной кровати. Костя в одной рубашке перелез ко мне и начал какую-то веселую игру, состоящую в том, чтобы шлепать друг друга по голому телу. И хохотали до боли живота и были очень счастливы, когда вдруг вошел в своем расшитом кафтане с орденами Николай Иванович с своей огромной напудренной головой и, выпучив глаза, бросился на нас и с каким-то ужасом, которого я никак не мог объяснить себе, разогнал нас и гневно обещал наказать нас и пожаловаться бабушке.

Другое памятное мне воспоминание, уже несколько позже – мне было около девяти лет, – это происшедшее у бабушки почти при нас столкновение Алексея Григорьевича Орлова с Потемкиным. Было это незадолго до поездки бабушки в Крым и нашего первого путешествия в Москву. Как обыкновенно, Николай Иванович приводит нас к бабушке. Большая с лепным и расписным потолком комната полна народом. Бабушка уже причесанная. Волосы ее зачесаны кверху надо лбом и как-то искусно заложены на темени. Она сидит в белом пудроманте перед золотым туалетом. Горничные ее стоят над нею и убирают ее голову. Она, улыбаясь, смотрит на нас, продолжая говорить с большим, высоким, широким генералом с андреевской лентой и

Незаконченное. наброски. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru страшно развороченной щекой ото рта до уха. Это Орлов, Le balafre.[12] Я тут в первый раз видел его. Около бабушки андерсоны, левретки. Моя любимица мими вскакивает с подола бабушки и вскакивает на меня лапами и лижет в лицо. Мы подходим к бабушке и целуем ее белую пухлую руку. Рука переворачивается, и загнутые пальцы ловят меня за лицо и ласкают. Несмотря на духи, я чувствую неприятный бабушкин запах. Но она продолжает смотреть на balafre и говорит с ним.

– Какоф маладец, – говорит она, указывая на меня. – Вы ишо не витали его, граф?
– говорит.

– Молодцы оба, – говорит граф, целуя руку мою и Костину.

– Карашо, карашо, – говорит она горничной, надевающей ей на голову чепец. Горничная эта – Марья Степановна, набеленная, нарумяненная, добродушная женщина, которая всегда ласкает меня.

– Où est ma tabatiere?[13]

Ланской подходит, подает открытую табакерку. Бабушка нюхает и, улыбаясь, глядит на подходящую шутиху Матрену Даниловну.

Примечания

1

Иван Григорьевич Латышев – это крестьянин села Краснореченского, с которым Федор Кузмич познакомился и сошелся в 39-м году и который после разных перемен места жительства построил для Кузмича в стороне от дороги, в горе, над обрывом, в лесу келью. В этой келье и начал Кузмич свои записки. (Прим. Л.Н. Толстого.)

2

Счастливей случайностью (франц.).

3

Госпоже Сталь (франц.).

4

Мы предполагали (франц.).

5

Медовый месяц (франц.).

6

Обстановка (франц.).

7

После 62 года все возможно... (франц.)

8

Граф и графиня Северные (франц.).

9

Маленький вакх (франц.).

10

Вас приветствуют. направо (франц.).

11

Просветы (франц.).

Незаконченное. наброски. Лев Николаевич Толстой to1stoy1eo.ru

12

Человек со шрамом (франц.).

13 Где моя табакерка? (франц.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://to1stoy1eo.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!